

Раннее детство. В памяти сохранилось не так много эпизодов из него. Что-то мне припомнилось ранее, и я опубликовал книжку «Алёшин секрет», где рассказал о наиболее интересных событиях, произошедших со мной до 1945 года. Поэтому хочу начать воспоминания с того момента, когда закончилась Великая Отечественная Война.

\* \* \*

Мы живём в баракном щитовом доме для офицеров рядом с лагерем военнопленных, где-то недалеко от города Череповца. Одна тесная комнатка и ещё крошечная прихожая в виде деревенских сеней с выходом на улицу. В прихожей стояли вёдра с водой, наша обувь, веники и всё другое, что обычно стоит в сенях.

Мебель в квартирке самая простейшая — стол, четыре табуретки, металлическая кровать папы и мамы, лежанка из досок в два этажа для нас, детей, которую изготовили пленные немцы. Что есть — тумбочка, где мама держала нашу нехитрую посуду да готовила на ней еду, которую варила потом в сенях на керосинке.

В этой комнатке обитает нас четверо: я — шести лет отроду, моя сестра Эллочка — на год и три месяца старше меня; мама — Мария Ивановна, в детстве Киселёва, дальневосточница из г. Бикин, и, конечно, пapa — Коломиец Марко Яковлевич, капитан, крестьянский сын из Киевщины. Он переведён сюда недавно из Ленинграда, где служил заместителем командира полка пограничных войск, но после тяжелейшей контузии очень плохо говорит. Вот его и направили в руководство охраны лагеря военнопленных. Папе — 32 года, а маме — 29. Мама не работает, но деятельная и весёлая, переносящая легко все трудности, руководит художественной самодеятельностью военнослужащих и членов их семей.

В отношениях с папой сначала были у меня сложности. Я его мало знал — война нас надолго разлучала. Папа сильно заикается, чем пугает и смущает меня, и я невольно начинаю заикаться вместе с ним, что папу сильно расстраивает.

Воспоминания мои того времени отрывочны. Но хорошо помню нашу неуютную серую комнатку, которую никогда не заглядывало солнце. За окном проявлялась также какая-то заснеженная серость, которая растворяла в себе всё видимое за окном — высокое ограждение лагеря из колючей проволоки, смотровые вышки и чуть дальше серые лагерные бараки.

Комната наша становилась уютней, когда наступал вечер и включалась электрическая лампочка под потолком, висевшая одиноко без аба-

журна. Мама сажала за стол около себя Эллочку и начинала учить её письму и арифметике, а я, неприглашённый к этому занятию, примищивался рядом на кровати и удивлялся, что сестрёнка не всё сразу схватывает. Потом приходил папа, большой и громкий, снимал военную форму, занимал собой всю комнатку, шумно умывался под рукомойником в сенях, и мы садились кушать. Ели что-то нехитрое, приготовленное мамой, но вкусное — супчик, какая-то каша или картошка с тушёнкой, кисель. Овощей и фруктов не помню. Наверное, их и не было. Да, припоминаю противный рыбий жир, которым каждый день с ложки потчевала нас с сестрёнкой мама.

От того времени в памяти остались отдельные эпизоды, крепко врезавшиеся на всю жизнь. Вот одна из картин. Военнопленные, страшноватые (немцы!), одетые как попало в некие подобия одежды — старые измызганные шинели, телогрейки, военные куртки, на ногах — какие-то обмотки, чудовищные башмаки: худые, если не сказать измождённые, — тащат на широких лямках (как репинские «Бурлаки на Волге») сани с огромной вонючей цистерной с фекалиями. Кажется, вывозили на поля — для удобрений.

Ещё эпизод. Военнопленный художник — немец в очках. У него печальные глаза, пластичные мягкие руки, от него сквозит какая-то теплота, которую он смущённо прячет. Немец в нашей квартирке копирует с открытки на большое полотно картину (как я позже узнал — Пимоненко «Парубок и дивчина»). Эта картина потом путешествовала с нашей семьёй при последующих неоднократных переездах. Он также написал по просьбе мамы «портрет» нашей кошки и натюрморт с белой розой в красивой хрустальной вазе, чего у нас — ни вазы, ни розы — конечно, не было. Я его сильно робел (или боялся?), хотя и внимательно наблюдал за работой художника. Его, похоже, тянуло меня приласкать — погладить по головке, но он не решался. Протянет руку, улыбнётся виновато и отведёт руку назад. Когда мама давала ему поесть, было заметно, как он торопливо и жадно набрасывался на еду, но потом брал себя в руки и начинал есть аккуратно и красиво.

В памяти моей также — огромные, страшные, остервенелые овчарки охраны лагеря, из-за которых я очень боялся выходить на улицу — однажды одну из них солдат вел на поводке, и она неожиданно, жутко ощерившись, каким-то хриплым, злым басом обляяла меня, дико напугав.

Игр на улице не было. Лишь однажды наш папа где-то, вероятно, ранней весной (шёл крупный влажный снег), уже вечером, при свете уличного фонаря скатал нам с сестрой снежную бабу с носом-морковкой. Он был слегка хмельной, был весел, смеялся, и нам с Эллочкой было очень хорошо. Эта игра приблизила меня к папе, и я его почувствовал — душой, наверное.

И вот ещё что сохранилось в воспоминаниях — поздней весной, а может, летом, но в половодье (было очень тепло), в огромном разливе реки Шексны мы плыли на лодке, папа разделся и спустился в воду. А потом мама раздela меня и отправила к нему. Сначала было жутковато, потому что плавать я не умел и вообще не помню, чтоб я когда-то до того купался в реке. Ощущения первое — подо мной — бездонная глубина. Но, поддерживаемый сильной рукой папы, я осмелел и зашлёпал ручонками по воде, радостно потрясённый — я плыву в огромном водном пространстве. А вокруг — зеленеющие верхушки деревьев торчат из воды, освещённые весёлым ярким солнцем.

Летом мама усиленно готовила мою сестрёнку к школе — в первый класс, всё-таки! Учебников никаких не было, все занятия были маминой импровизацией, она вечно что-нибудь придумывала, фантазировала. Очень любила рассказывать сказки, причём нередко сочиняя их во время рассказа. Папа, услышав, как она начинает импровизировать какую-то новую сказку, с улыбкой говорил:

— Ну вот, начинается «подводное царство».

Занятия с сестрой шли каждый день, а рядом тому же самостоятельность продолжал обучаться и я. Мама не уделяла мне особого внимания, лишь мимоходом давала мне какую-то подсказку (в школу-то ведь не меня готовили). Тем не менее, я всё схватывал и быстро научился читать и считать. Детских книжек у нас не было, и учился читать я по заголовкам газет. Мама говорила потом, что уже с пятилетнего возраста я бегло читал все газеты подряд. Первого сентября мама повела мою сестрёнку в школу, а я пошёл с ними (меня попросту некуда было девать)! Эллочку приняли в первый класс, усадили за парту, но вдруг я заупрямился, чтобы и меня усадили за парту — ведь я лучше сестрёнки читаю, и считаю, и умею писать! Упёрся — до рёва. И пожилая учительница (жалъ, не помню её имени) — невысокая, худенькая, в очках, улыбнувшись, сказала маме:

— Маруся! Да пусть остаётся. Надоест — уйдёт.

Я, маленький и щупленький, был посажен на последнюю парту. А в классе со мной нас было только четырнадцать первоклашек. Когда же обнаружилось, что с этой парты я не вижу, что написано на доске, учительница пересадила меня на первую парту. Но и оттуда я ничего не видел. Так у меня в скором времени появились очки — минус пять — для близорукости, вероятно, последствия недоедания военных лет.

Учительница назвала меня — Аля, так её рукой написано в моём табеле за первый класс (мама сохранила все наши табели) — Коломиец Аля. Учился я легко, лучше всех, так в результате и закрепившись в классе. А документы о поступлении в школу были оформлены на меня позднее. Единственная незадача, которая беспокоила меня в то время — меня старались усиленно переучивать писать. Я к тому времени довольно бегло писал... левой рукой. Я — левша, хотя до школы — не вспоминаю, чтобы кто-то об этом мне говорил. Поэтому с чистописанием (был такой предмет) у меня сначала были большие проблемы. Мама смеялась:

— Это, сынок, не чистописание у тебя, а грязнописание.

Но, впрочем, справился я с этой проблемой довольно быстро, хотя ещё долго писать не «своей» рукой мне было очень неудобно. Был в первом классе у меня ещё один ярко запомнившийся случай. Рослый мальчишка, ревнуя к моим пятёркам (ну ты, пятёрочник!), дал мне приличного подзатыльника. Но рядом была моя разгневавшаяся сестра. А она и тогда, и потом, будучи чуть постарше, воспринимала себя как мою защитницу, няньку, опекуншу. Мой обидчик получил от неё крепкую оплеуху. Но помню, что и я вдруг воспыпал тогда незнаемым ранее чувством гнева, негодования, пытаясь дать решительный отпор недругу. Эта вспыльчивость на обиды потом преследовала меня всю жизнь, пожалуй, до самой старости.

Первый класс я закончил именно в этом посёлке у Череповца, закончил на отлично, как, впрочем, и все последующие школьные классы. А следующим летом папу перевели по службе в Вологду. Мы поселились в большом жилом четырёхэтажном доме, как понимаю теперь — гостиничного типа. Вдоль длинного коридора, заканчивающегося большой кухней коммунального типа с несколькими столами и плитами, слева и справа располагались жилые комнаты.

В одной из них — на пятом этаже (это не ошибка!) жили и мы. Этот этаж был чем-то в виде надстройки над домом, потому что потолки были очень невысокие, почти в папин рост (а у папы было целых 180 см). Потолок — полуovalный, а единственное большое окно, также полуovalное, возвышалось почти над полом. Комната была большая, и наше жильё казалось нам шикарным. И ещё — впервые в жизни я увидел, вернее, уяснил, что туалеты были не на улице, а в противоположной стороне от кухни — на четвёртом этаже (!), тёплые и благоустроенные. Там же была и душевая комната. Это открытие крепко меня впечатлило.

В Вологде мы жили недолго. Из ярких впечатлений — я брошу по огромной луже во дворе босиком и вдруг чувствуя резкую боль в правой

пятерке. Выбрался я из лужи с половинкой разбитого граненого стакана в ноге. Ужас, рёв, мама, врачи — всё это промелькнуло ошеломляющее и быстро. Но всё обошлось, нога довольно быстро зажила, а опоясывающий пятку шрам виден у меня и сейчас.

Вскоре я услыхал взволнованный и тревожный разговор папы и мамы. Примерно такой:

— Маруся, меня сокращают по здоровью, это из-за моей контузии и заикания. Что дальше делать, я не знаю. Ведь я сельский парень, нет у меня никакой городской специальности. А возвращаться в село своей — Сошиныкив на Киевщине в таком нищем виде мне совестно: боевой офицер — пограничник, воевал с японцами, с финнами, с фашистами — и что?! Обратно за плуг? Давай так, милая, поскольку мне оплачивают проезд в любой конец страны, а как пограничник я могу поехать и в закрытую приграничную зону, то давай поедем в Закарпатье. Как-нибудь там устроимся, а к нам в гости никто из родни приехать не сможет — не пустят. Так что они и не узнают, как мы бедствуем.

Я этот разговор хорошо запомнил, потому что и меня, малыша он сильно взволновал.

Когда началась война, с погранзаставы около города Сортавала побросали нас отцы, в чём мать родила, в кузова автомашин и отправили в Ленинград — без вещей и еды. Да и откуда у молодых семей пограничников имущество? Простейшая мебель — и та казённая. Впрочем, отец позднее рассказывал нам, что в начале войны финны наступать не торопились, и папа успел упаковать в большой сундук нехитрое наше добро и отправить — до востребования.

Итак, папа с мамой приняли решение — едем в Ужгород, областной центр Закарпатской области. Отец отправил туда багажом наш нехитрый скарб, и мы двинулись в путь. Плохо помню дорогу, было много пересадок, езды в переполненных людьми поездах. Я очень уставал, был подавлен и всё время хотел спать.

Поразил меня лишь один случай. Где-то, кажется, во Львове, на вокзале отец дрался со здоровым крепким мужчиной в гражданском. Как-будто тот чем-то оскорбил моего отца, одетого ещё в офицерскую форму. Тогда-то папа и заслужил моё первое мальчишеское уважение и восхищение. Я был очень взволнован, но горд за папу — он победил в драке. Разгорячённый и злой, бил он крепко и наотмашь, и противник бежал. А папу арестовал патруль, но вскоре его выпустили, и мы продолжили наше путешествие.

В Ужгороде по прибытии жили на вокзале суток двое-трое. Настроение у родителей было подавленное, над нами висела какая-то тягостная атмосфера. Местные железнодорожники тяжёлыми взглядами посматривали на нас. Но, наконец, прибежал папа, оживлённый и радостный, и мы поехали к нашему месту жительства. Это была... Ужгородская средняя школа №4. Отцу удалось устроиться туда бухгалтером, а чуть позднее там стала работать учительницей младших классов и мама (она окончила когда-то в Бикине культпросветучилище).

А жить мы стали в школе — на чердаке. Над крышей школы возвышалась надстройка, в которой располагался десятый класс. Из его окон под невысоким потолком виднелся скатчерепичной крыши и водосточные желоба у её края. Ну а наша квартира, со входом из класса в четыре ступеньки, располагалась за дверью в торце класса. Это была часть чердака. Выделил нам это помещение, как временное жильё, директор школы, сам — участник Великой Отечественной Войны. Он просто посочувствовал отцу.

Папа с мамой обили комнату изнутри фанерой, поверху неё наклеили обои. Вот и всё — жильё готово. И, между прочим, неплохо нам там жилось!

В это лето, вскоре после приезда, я знакомился с окрестностями нашей школы. Это были узенькие, мощёные булыжником улочки под ста-ринным ужгородским замком, внушительным, основательным и неплохо сохранившимся. Он стал излюбленным местом наших юношеских забав впоследствии. Невдалеке текла широкая в этом месте, но мелководная река Уж. Соседние улочки привлекали даже мое детское внимание красивыми одно- и двухэтажными особняками с палисадниками за каменными заборами. И неудивительно, ведь это был старинный городок с тысячелетней историей, не затронутый серьёзно ни одной войной. Жило в то время в Ужгороде 35 тысяч человек. Именно этот городок, невысокий, малоэтажный, с массой особняков, ещё не захваченный индустриализацией, чистенький, благоустроенный, в значительной части — с булыжной мостовой и врезался мне в благодарную память и стал моей родиной — по нынешним моим ощущениям.

Теперь вернёмся в мое первое лето в Ужгороде. Как-то захотелось мне смастерить себе лук, я начал его делать, а папа завершил мне его «создание», натянув бечеву-тетиву. Первая же моя стрельба принесла мне жестокое разочарование. Вокруг двора соседнего со школой большого двухэтажного дома высился каменный забор высотой около 2,5 метров, сложенный из крупных каменных глыб. И я заметил, что из одной дырки в этой стене забора вылетают осы. Естественное желание — проверить свою меткость и попасть в эту дырку! Получилось не сразу, поэтому я шаг за шагом, охваченный азартом, приближался к роковому отверстию. И, о радость, наконец — попал! Но через мгновение я пожалел об этой своей меткости — группа ос по кратчайшей прямой устремилась ко мне и... Я примчался домой к маме в жутких слезах, с распухшим лицом и шеей, растерянный и обиженный! Да, с тех пор ос я очень уважаю и стараюсь не тревожить их строгую жизнь и порядки.

Ещё навсегда запомнилось, как я обнаружил недалеко от школы в узеньком проулке ничейное ореховое дерево, для меня весьма экзотичное и притягательное. Мои новые уличные друзья научили меня разбивать камнями плоды поспевающих грецких орехов, заключённые в зелёную кожуру, и есть поспевающую сладкую, ещё мягкую сердцевину орехов. Руки и рты у нас, естественно, были черны от орехового сока. Вот там я крепко и навсегда запомнил, что сбивать орехи с дерева камнями — ну ни как не следует. Дело в том, что, выбрав увесистый кусок кирпича, я бросил его вверх, стараясь попасть в плоды. Камень стремительно полетел и... так же стремительно вернулся, срикошетировав от толстого суха. Тяжелейший удар по голове — и я без сознания. Это было сотрясение мозга и глубокая, залившая кровью лицо — рана. Скорая помощь, быстрое лечение и долгое воспоминание.

Что ещё в памяти из того лета? Ходили мы с семьёй в горы (а это километрах 2,5-3 от школы), ходили собирать ежевику. А ежевика та, не как в средней полосе России — мелкая, невысокая, ползучая — а огромные высокие кусты с крупной сладкой чёрной ягодой, растущие на обширной площади пологих горных склонов, образовав колючие непроходимые заросли. Набирали мы эту ягоду корзинами. Нигде больше я не встречал такого изобилия ежевики. В нашей каморке на чердаке папа и мама варили на электроплитке варенье, а ещё ставили её на вино — засыпали ягоду в тёмно-коричневые, толстостенные двухлитровые немецкие трофейные бутыли с плотно закрывающимися резино-металлическими крышечками и добавляли туда немного сахара. Вино созревало, папа был явно доволен, но... потом одна из бутылей уже зимой со страшным грохотом взорвалась ночью, окрасив наше скромное жильё в тёмно-малиновые цвета. Было много стирки, отбеливания, переклеивания обоев. Так папа и мама, наконец, узнали «нехитрое» правило, что плотно закрывать засыпанную сахаром ежевику не следует, потому что

обильно образующиеся газы брожения необходимо выпускать — через водяной замок. Увы, поздно!

К этой Горе (её так и называли — Гора) за ежевикой, за грибами, и — просто погулять в расположенный там же просторный лес — мы ходили и тогда, и позднее, многократно получая каждый раз яркие, незабываемые впечатления. С высоких склонов были обозреваемы — наш приземистый городок Ужгород, окружающие его живописные горы и уходящая вдаль зелёная долина реки Уж. Лес — огромные высоченные деревья — мощные, могучие дубы, буки, грабы. Там я впервые увидел огромных жуков — до пяти и более сантиметров в длину — носорогов и рогачей. Один из рогачей, расклёванный, вероятно, птицами, был совсем без задней части, но шевелил челюстями и передними лапками, при этом двигаясь вперёд! Жуткое, поразившее меня, мальчишку, зрелище. Жук попал, понятно, в мою коллекцию, являясь её достопримечательностью. Там, у леса познакомились мы с гостеприимным седым и невысоким дедушкой и его пожилой женой. Они жили на отшибе от иного жилья в неказистой хижине с глинобитным полом. Одеты были они в груботканую полотняную и шерстяную одежду, вышитую цветным орнаментом. Папа говорил:

— Это гуцулы.

И лишь много лет спустя я узнал, что были они русинами — коренной древнейшей народностью Прикарпатской Руси. Папа и мама долго ещё дружили с ними после моего отъезда в Москву после окончания школы.

Увлекательное, богатое впечатлениями первое моё лето в Ужгороде закончилось, и во второй класс я пошёл в Ужгородскую мужскую школу №3. Да-да, мужскую. Тогда мальчики девочки учились раздельно аж до 1954 года. Школа №3 — прекрасное функциональное школьное здание недавней чехословацкой застройки, расположенное на живописной набережной реки Уж — тогда она называлась Ленинградская набережная. От 4-ой школы, где мы жили, для меня она была расположена довольно далеко. Родители мои, нагружившиеся работой, не всегда могли меня провожать и, боясь отпускать одного, тем не менее, нередко посыпали в школу без сопровождения.

Мне казалось тогда, что местное население Ужгорода относилось в то первое послевоенное время к нам недоброжелательно. Наверное, так оно и было сначала. В основном, это была венгерская, чешская, словацкая и другая восточно-европейская диаспора — преимущественно местная интеллигенция, заселившая Ужгород в период вхождения Прикарпатской Руси — Закарпатья — в состав Австро-Венгрии, затем Чехословакии, потом — Венгрии. Коренного местного населения — русинов (гуцолов) было в городе тогда немного, и это была, в основном, общуга состоятельных горожан.

Как правило, местная интеллигенция жила в индивидуальных коттеджах, вызывая зависть у нас, пришлых «восточников», как говорили тогда. Мы чувствовали что-то несправедливое в этом — война закончилась, мы — победили, но они живут, припеваючи, а мы — без жилья, скарба, денег — бедствуем.

Ну ладно, отвлёкся я немного. Так вот, по дороге в школу часто видел я недобрые взгляды, боялся тумаков (хотя их не было), ведь одет-то я был... в гимнастёрку, пошитую папой на швейной машинке. Но вскоре я привык к часто встречающимся мне одним и тем же людям, да и они, похоже, привыкли ко мне. Ходил я в школу во вторую смену. А в первую смену в женской школе №4, где мы ютились, уже вовсю шли занятия — у нас за перегородкой гудел девичий десятый класс. Как-то (увы!, такова детская жизнь) мне, маленькому невтерпёж захотелось — «по большому». И моя сестрица (старшая, заботливая, ответственная!) — придумала! Она постелила на пол газетку:

— Ты покакай, а я потом вынесу.

Так я и сделал, но... пахло так нестерпимо, что сестрица тщательно скатала моё «добро» в кулёчек и выбросила в форточку на откос крыши.

Кулёк скатился и попал в водосточный жёлоб. Уже назавтра этот кулёк был обнаружен десятиклассницами, и одна смелая девочка полезла за ним. А мы с сестрой, затаившись, с тревогой наблюдали за ней из нашей каморки. Захватив кулёк, девочка вернулась в класс. И мы услышали неистовый девичий хохот! Сначала встревоженные, потом потихоньку захихикали и мы с сестричкой.

Занятия мои в школе шли своим чередом. А папа мой устроился вскоре на вторую работу — бухгалтером в мою родную школу №3. А это значит, по тем временам, что работал он 16 часов в сутки. Я его почти не видел. Но главное — следующим летом, благодаря этому обстоятельству, мы переехали жить в эту школу, потому что пожарные запретили нам жить на чердаке школы №4. Сначала мы разместились в уголке школьной раздевалки, а потом — в небольшой полуёмной комнатке с оконцем под потолком. Это была кладовка, где хранился всевозможный спортивный инвентарь — маты, гимнастические козлы, волейбольные сетки, мячи, копья и всякое другое. Забегали школьники, забирали, что им было нужно, потом приносили обратно, а мы, не обращая на них никакого внимания, спали, ели, (мама готовила пищу впрок в школьной столовой), готовили уроки — в общем, жили!

К школе я привык быстро, не помню никаких трудностей и конфликтов — в школе мне было хорошо, учился я легко и только на пятёрки. Прошло месяцев 5-6. И вот прибегает возбуждённый, радостный отец и объявляет:

— Нам дали квартиру!!

И вскоре мы перебрались на просторную бесконечную (до самой границы) улицу Победы в большой одноэтажный саманный особняк, до войны принадлежавший состоятельному сбежавшему с отступавшими немцами венгру. В этом доме две комнаты и кухню уже занимала одна семья — Кнышей, с которыми мы быстро сдружились. У нас с ними была общая дверь между квартирами, так никогда и не ликвидированная, а лишь завешенная с двух сторон коврами. Мы — в просторной, метров 25 квадратных комнате с высоченным потолком — в четыре метра и с огромным окном. Из неё мы попадали в другую — тёмную, без окон комнату (свет был лишь через стекло двери, выходящей на общую веранду!). А оттуда — прямо — в большое, метров 30 квадратных хозяйственное помещение типа кухня-столовая с лестницей на чердак, а если направо — был вход в махонький коридорчик с тремя дверями — в ещё одну кухоньку, в кладовочку и на веранду.

Всё, мы заселились!

Этот период, по моим ощущениям, был вершиной счастья нашей семьи. Но длился он недолго — не более полугода. Какие-то чинуши посчитали, что нам досталась слишком большая площадь, и нашу квартиру было решено разделить на две! Отец пытался остановить это разделение, приходил домой, покерневший лицом, вымотанный, нервный, измученный. Но, увы, ему не удалось предотвратить этот раздел. И к нам пришли каменщики — выкладывать разделительную стенку. Отец и будущий хозяин соседней квартиры долго спорили на повышенных тонах, как и где её располагать. Наконец, как-будто договорились. Отец ушёл на работу, а меня оставил дома и наказал, что если каменщики начнут класть не по определённым разметкам, то я должен бежать к нему в школу. Увы, так всё и случилось. Едва отец ушёл, сосед пошептался с каменщиками, и они начали класть стенку так, что по оставшемуся нам коридорчику можно было выбраться на кухню лишь бочком. Я попытался вмешаться, но кто же меня послушает, малолетку. Я получил внушительный подзатыльник (который так никогда и не смог простить этому соседу) и в слезах стремглав помчался к папе на работу.

Папа, гневный и разъярённый, влетел в квартиру, а стенка была уже выложена по грудь, мощными ударами ног и рук развалил её. Вид его был устрашающий — пылающие глаза, неистовое негодование, крепкие

слов! Каменщики бежали, а соседа папа приподнял за пиджак, прижал к стенке (а тот был нехилый мужик лет сорока) и прохрипел:

— Ещё раз что-то подобное сделаешь, я тебя прибью! Понял?!

Пытавшийся сначала сопротивляться сосед вскоре сник и исчез. Позднее были у папы, помнится, неприятности. Но всё утряслось, и стенка возведена была так, как требовал папа. После этого случая мое мальчишеское уважение и восхищение отцом ещё более возросло. Понятно, что подобные эпизоды впитывались моей ребячей душой и оказали несомненное влияние на характер моих поступков в дальнейшем.

Итак, в этой отвоёванной папой тёмной узкой комнатёнке была поставлена кровать для моей сестрёнки, на которой и спала она вплоть до замужества. Вот теперь окончательное — всё! Несмотря на все эти встряски, даже я, ребёнок, остро почувствовал, что мы, наконец, обрели окончательно — постоянное жильё — и поселились здесь надолго. Ну а то, что водопровода в доме не было, туалет обычный, выгребной стоял во дворе, общий для всех семей — это были такие мелочи, о которых мы даже не задумывались.

\* \* \*

Вот теперь я попытаюсь поподробнее описать наши «апартаменты» и мою последующую жизнь там.

В углу нашей большой комнаты стояла высокая, необыкновенно красивая печь-голландка, облицованная белым кафелем. Это был источник тепла для нашего жилья. А на кухоньке стояла обычная дровянная плита, которая служила для приготовления пищи, но также и для отопления нежилой части квартиры. Папа с мамой спали на высокой металлической кровати в большой комнате, а я — на раскладушке у противоположной стены — вплоть до окончания школы, ежедневно собирая и разбирай её.

Жизнь есть жизнь! Увы, самым сложным для меня было делать вид, что я сплю, когда папа и мама, считая, что мы с сестрёнкой заснули, начинали потихоньку свои молодые постельные игры. Я старался не шевелиться, и едва дышал тогда. С этой моей раскладушкой связаны и тяжёлые, страшные сны, которые приходили ко мне часто. Я ведь даже засыпать боялся! Когда я спал на спине, я видел один и тот же сон, сильно меня пугавший. Я чувствовал во сне, как какая-то жуткая сила наваливалась на меня, я задыхался, но вдруг меня резко приподнимало с раскладушки и носило по воздуху по всей квартире — в коридор, кухню, кладовку, а затем я вновь оказывался на раскладушке. Продолжалось это фактически до окончания школы, но я стеснялся об этом кому-нибудь рассказывать и носил этот страх в себе. Сон этот действительно был очень странный, какой-то, казалось, реальный. Мне думалось — уж не нечистая ли сила пугает меня. Я и сейчас помню его в мельчайших деталях.

Возвращаюсь к описанию нашей квартиры. Мебели и вещей сначала у нас никаких не было, всё необходимое потом появлялось очень постепенно. Ну а тогда папа надеялся, что найдётся, в конце концов, тот большой сундук с вещами, который он отправил с погранзаставы в начале Великой Отечественной Войны «до востребования». Папа посыпал запросы в разные инстанции, и вот весной сорок восьмого года получил радостное известие — сундук найден! А вскоре он прибыл к нам. Папа, торопясь, во дворе топором вскрыл забитую гвоздями крышку сундука. Семья наша в необычайном волнении подалась вперёд — что же там! Сверху на куске какой-то рогожки лежал наш альбом для фотографий (в котором потом мы нашли лишь одну фотографию — папина овчарка с командирской сумкой в зубах), а под рогожкой обнаружилась... свалка разного хлама — обрывки тряпок, щепы, досок, кусков кирпича. И больше ничего!

Это был необыкновенный страшный шок для всех нас, шок, который невозможно описать словами! Я впервые увидел плачувшего, горько рыдающего большого, сильного, красивого мужчину — моего папу.

В моём маленьком детском сердечке родилась огромная невыносимая обида, недетская ненависть к тем, кто нажился на нашем горе. Мне стало так жалко папу! Это было, как я понимаю сейчас, настоящее, почти взрослое ощущение гадости и мерзости произошедшего. Я представляла, как некто воровато вскрывает наш сундук и, отвратительно радуясь, тащит наши вещи к себе домой. Думаю, что это событие заложило прочный камень в фундамент формирования моей нравственной конституции — непримиримая борьба с несправедливостью.

Но — жизнь продолжалась. Постепенно заполнялось пустующее пространство квартиры, родители время от времени приобретали нехитрую мебель и прочие необходимые для жизни вещи. Шифоньер, комодик, тумбочка, трюмо и овальный раздвижной стол в центре комнаты — вот, собственно, и всё, что появилось в нашей квартире к 1955 году, когда я окончил школу. Была ещё старая швейная машинка «Зингер», купленная отцом на рынке, да радиола. Оказалось, что папа прекрасно шил, и до примерно 1950-51 годов наша одежда была преимущественно такова: на папе — гимнастёрка и полу военные брюки, на маме и сестрёнке — платья, сшитые из гимнастёрок. На мне — также гимнастёрка и брюки из того же материала. И все это папаскроил и сшил из бывшего своего армейского офицерского обмундирования, которое он накопил и припас ко времени увольнения из армии. На наших фотографиях того времени мы так и выглядим — все в гимнастёрочной одежде. Впрочем, тогда этому никто не удивлялся, это было вполне обычное явление.

Уже с начала пятидесятых мы стали потихоньку «вставать на ноги», появилась на нас кое-какая цивильная одежка. Впрочем, первый мой костюм был мне пошит в швейной мастерской («справлен» — как говорил папа), лишь когда я окончил школу и собрался уезжать учиться в Москву. Даже на выпускном вечере я был в обычной тогда вельветовой курточке — «толстовке», как говорили тогда. И не один я был так одет — да почти все ребята в классе.

Продолжу дальше описание нашего бытия в этой квартире. Во дворе, где, кроме нас и двух семей соседей, в небольшом домике жили бывшие конюх и уборщица прежнего хозяина — пожилые дядя Вася и тётя Юля, скромные уважительные люди, с сыном — подростком Мишкой. Кроме того, в нашем большом дворе находился добротный саманный скотный двор, в котором со временем прижились и наши пороссята, а чуть позднее — и корова, а потом — коза. В сараичике — дровнике, построенном папой на задах нашего обширного двора, жили также наши куры и утки, а впоследствии — и кролики, и голуби. Папа с мамой с раннего утра уходили на работу, обитая там до позднего вечера, и все домашние дела постепенно перекладывались на мою сестрёнку и меня. На Эллочеке лежали — уборка квартиры, стирка, она также готовила пойло для коровы и корма для свиней, кормила кур и уток. На меня возлагались обязанности — наносить воды из колонки, расположенной на улице метрах в ста от нашего дома, натереть паркетные полы мастикой до блеска, накормить и выгулять по двору пороссят, накормить кроликов (нарвать им травы) и голубей. И — главное! — постепенно на меня легла обязанность заготовки дров! Я должен был наколоть топором дрова и принести охапки их на кухню и к голландке.

Собственно, где-то с десяти лет забота о дровах полностью легла на мои мальчишечьи плечи. Дело вовсе не в том, что папа много работал и домой в первые годы приходил только спать, но, прежде всего, в том, что у папы выявили серёзную болезнь сердца, категорически исключавшую физические нагрузки (увы — печальный результат войн). Я видел, как плохо бывало папе, когда он пытался что-либо физически тяжёлое сделать, понимал это, сочувствовал ему, переживал и старался по возможности перехватить эти работы. Впрочем, эти трудовые обязанности нас с сестрой нисколько не смущали и не тяготили, а воспринимались нами как совершенно естественные, само собой разумеющиеся.

Первые мои неудачи с дровами, конечно, были — загонишь колун в чурку — и ни туда, ни сюда — не вытащить и не забить глубже. Бежал я тогда к Мишке. Был он лет на семь старше меня, всерьёз занимался футболом (футбол в это время в Закарпатье был спортом номер один, и там выросло тогда много известных советских футболистов). Мишка легко, играючи решал мои дровяные проблемы — всегда охотно и доброжелательно. Но со временем я и сам «заматерел», и ни одно даже самое узловатое полено не оставалось мною не расколотым. Надо сказать, что эти ежедневные «упражнения» помогли мне накачать приличную силу, которую я почувствовал позднее в мальчишечьих драках.

Кроме этих работ, летом на огородике, расположенному сзади сараевчиков, на котором мы выращивали всевозможные овощи, я обязан был ежедневно поливать грядки и пропалывать их от сорняков. А за городом, примерно в трёх-четырёх километрах от нашего дома был у нас огородный участок площадью семь соток, на котором выращивалась кукуруза, подсолнечник, картофель и фасоль. Там у всей семьи в течении лета тоже было немало работы. Хотя и не всегда удавалось собрать весь урожай. При созревании, если мы немного зазеваемся, то вся продукция — основной корм нашей скотины — исчезала бесследно, ведь рядом располагались усадьбы местных жителей.

Что касается поросят, то когда они подрастали и их начинали готовить к забою, я должен был ежедневно выгуливать их во дворе, чтобы, как говорил отец, у них появились прослойки в сале — бекон. Поэтому я гонял их прутом по двору. А ещё была у нас корова, но продержалась она недолго. Пастух из местных относился к ней (к нам!) злобно, и однажды пришла она домой, оставляя за собой кровавый след — у неё был выкидыш. Бока коровы покрывали ссадины. Видимо, её крепко избили. Корова умирала, пришёл ветеринар и велел заколоть её на мясо. Это было наше горе. А на смену корове была куплена коза, любимица всей семьи и — моя большая головная боль. Летом у Маньки (так её звали) появился индивидуальный пастух — это я. С появлением козы существенно сократился объём моего свободного летнего времени. В футбол бы с друзьями поиграть, а тут она! Я попытался совместить пастушье-футбольные интересы, но из этого ничего не вышло.

Но вернёмся вновь на наш двор. Там высились две огромные шелковицы. Одна — с кисло-сладкими тёмно-красными плодами, а другая — с крупными сахарно-сладкими белыми ягодами. Белая мне нравилась больше. Крупные сочные поспевшие плоды падали на землю — и есть с земли их было нельзя — они были в пыли и песке. Поэтому взрослые расстилали на земле какое-нибудь старое одеяло, а я забирался на дерево и стряхивал плоды с веток. Лазил я по шелковицам, как обезьяна, знал хорошо, как подобраться к каждой отдалённой веточке с самыми сладкими плодами. Но однажды веточка подо мной внезапно обломилась, и я полетел лицом вниз с восьмиметровой высоты.

Как и много раз в последующей моей жизни, как говорят — «пророчество» спасло меня, потому что именно в эти секунды во двор под шелковицу въехала лошадь с телегой, загруженной сеном, которой управлял дядя Вася. Я пропорол весь бок уложенной в телегу скирды сена, меня развернуло и я слёпнулся на землю спиной и отключился. Не знаю, был ли этот обморок от страха или потерял сознание от удара. Соседка тётя Валя схватила меня за руки и бегом отнесла в городскую больницу, находившуюся метрах в двухстах от нашего двора. Я очнулся, меня тщательно осмотрели врачи, сделали рентген, но не обнаружили никаких переломов и даже следов ушибов или ссадин. Была констатирована лишь лёгкая контузия, и меня отпустили домой, где я удостоился ещё и маминой взволнованной нотации, которую вызвали с работы... Впрочем, любовь моя к шелковицам в связи с этим происшествием не остыла, и я продолжал обезьянничать на них.

Коль скоро я коснулся темы «Пророчества» — Судьбы, то расскажу об

ещё одном происшествии со мной, когда мне было восемь лет, и которое едва не стало трагическим для меня. После окончания второго класса я с небольшой группой школьных товарищей пошёл на речку. Родители, зная, что Уж в том месте, куда мы пошли, в это время можно пешком — по колени — перейти, отпустили меня. Автомобильный мост через Уж был тогда ещё не восстановлен. Фашисты, отступая, взорвали один прибрежный пролёт моста под правым берегом реки. Мы с ребятами съехали по наклонной плите этого пролёта и уселись на берегу небольшого тихого непроточного затончика шириной метров пятнадцать и глубиной не более полутора-двух метров. Ребята решили искупаться, а я стеснялся сказать, что плавать не умею. Хотя в банном бассейне я держался на воде и немножко плавал на спине. Мои друзья попрыгали в воду, поплыли на другую сторону затончика, а я попытался, боясь ужасно, всё же поплыть за ними на спине. Где-то на середине затона я потерял ориентировку, закружился на месте, запаниковал и... стал тонуть. Мне почему-то было стыдно кричать, в конце концов я обессилен, перестал барахтаться и безвольно опустился на дно на спину. Видел, как надо мной играли солнечные блики у поверхности, вдохнул воду и потерял сознание.

Очнулся я на берегу, надо мной суетились взрослые дяди. Меня рвало, тошнило, кружилась голова. Оказалось, что под водой я был всего несколько секунд. Мой товарищ — Лёнька Лангазо, увидев, что я тону, бросился ко мне на помощь, но не успел. Набрав воздуха, он нырнул, схватил меня за волосы и вытащил на берег, а тут подоспели и взрослые. Лёнька — переросток, как тогда говорили. По два раза оставался на второй год и в первом и во втором классах. Было ему около одиннадцати лет. Лёнька был в оккупации с мамой, трудно учился, но был очень добрый и совестливый мальчик, прекрасно плавал. Ему я благодарен всю мою жизнь, которую он мне фактически спас. Родителям боялся рассказывать, что со мной произошло. Поэтому я категорически отказался ехать в больницу, и мы с Лёнькой просидели на берегу до вечера, пока я приходил в себя, и только потом приплёлся я домой. Опять — рука «Провидения»!

Но вернёмся на наш двор. Летом у нас по выходным к вечеру собирались гости. Наш дом со стороны двора опоясывала обширная крытая веранда, обрамлённая балюстрадой, засаженная цветами. Именно на этой веранде и рассаживались за наскоро накрытым столом гости. Было много шуток, смеха, песен — радости. И папа, и мама любили петь. У мамы был красивый голос. Люди говорили — поёт как артистка. Ну а у папы были проблемы со слухом, он иногда фальшивил, хотя мама говорила, что до войны у папы был прекрасный слух, но контузия его «съела». Пели всё — русские и украинские народные песни, известные популярные советские, часто военные песни, были и романсы. Папа обожал украинские народные песни. Любимая, часто исполняемая — «стоить гора высокая, попид горою гай, гай, гай...» — исполнялась им со слезами на глазах при завершающей фразе — «... а молодиць нэ вэрнеться, нэ вэрнеться вона». Это было очень трогательно. Ну и вообще, мне нравились эти дружные застолья. Сейчас такое не увидишь.

\* \* \*

Конечно, яркие детские воспоминания сохранились в моей памяти от поездок летом на родину моего отца — в село Сошников (по-украински — Сошныкив), что в Бориспольском районе Киевской области, когда была ещё жива его мама — моя милая бабушка Федора. В селе её звали баба Федора.

Село Сошников — большое старинное село. Первое упоминание о нём в официальных документах датируется 1455 годом. Оно издавна относилось к левобережному реестровому казачеству. Как военная единица входило в разные казачьи подразделения (сотни, полки). Когда Екатери-

на Пликивировала казачество в Украине, село Сошников относилось к Переяславской первой казачьей сотне. Известно из семейных преданий, что и мои пра-пра-прадеды издавна были реестровыми казаками. А после ликвидации казачества все поколения дедов служили в пограничных войсках, так им предписывалось.

Когда после Великой Отечественной войны наша семья бывала в Сошникове, там проживало более трёх тысяч человек. Да и сейчас там живёт более полутора тысяч. Громадное село! У папы там было много родни, как и во многих соседних сёлах. Все наши поездки туда сопровождались многочисленными хождениями в гости к родне и родни — в гости к нашей бабушке, где останавливались мы.

Широкие застолья происходили всегда во дворе за множеством столов и лавок с небогатой сельской снедью и мутнобелой вонючей свекловичной самогонкой. Проходили они шумно — в разговорах, с песнями, с долгими прощаниями. Были и крепко подвыпившие мужики, но — не видел я ссор или, тем более, драк. Как это иногда бывает у нас. Живописное село наше расположено около обширных, преимущественно сосновых лесов недалеко от Днепра. Известно, что во время войны в них обитал активный партизанский отряд из местных жителей и окружёнцев. Мы часто ходили в лес за грибами. А ещё там были сооруженные давно мелиоративные каналы, заросшие травой и тростником. Их называли — канавы. В свободных от растительности окнах в этих канавах мы ловили большими сачками («пидсаками») вьюнов и жёлтых карасей, предварительно усердно взмучивая в них ил. Интересно, что у многих сельчан около домов были выкопаны небольшие водоёмы («копанки»), куда запускали молодь карасей — впрок для пищи.

На лошадях (на телегах) ездили мы в гости в соседние сёла и городки. Помню наши поездки в городки Борисполь, Яготин, Переяслав-Хмельницкий. Бывали мы и в сёлах Старое, Рогозов. Переправлялись на пароме через Днепр, чтобы посетить родню в Василькове и Ржищеве. Особенно впечатляли красочные и шумные украинские базары, на которых любил остроумно торговаться мой папа. В общем, это были необыкновенно запоминающиеся и удивляющие приключения для меня, которые я впитывал восхищённой детской душой.

Моя бабушка Федора — необычная запомнившаяся женщина. Она была неграмотная, но удивительно цельная духовно. Добрая, с ласковыми глазами, с тихим неторопливым украинским говором. Ни об одном человеке не сказала она плохо. Когда о ком-то начинали говорить нехорошие слова, она старалась найти ему оправдание. «Та ни, вин добра людъина», — отвечала она в таких случаях, находя убедительные резоны, чтоб сказать что-то хорошее. Ходила бабушка всё время босиком, лишь по особым случаям одевая калоши. Впрочем, практически все жители села тогда летом ходили босиком. Да и одеты были весьма скромно. Мужчины в большинстве ходили в застиранных гимнастёрках.

Хата бабушки — маленькая белёная саманная хижина с соломенной крышей и глинобитным полом, застелённым свежескошенной травой или сеном — если зимой. Три крошечных окошка — два в небольшой светёлке и одно — в кухоньке, отгороженной дощатой перегородкой. В хате было немало икон, убранных вышитыми рушниками. Собственно, в селе в послевоенное время конца 40-ых - начала 50-ых годов было только два дома с тесовыми полами — у председателя колхоза Петра Андреевича Коломийца — двоюродного брата моего отца, да ещё — у батюшки Василия.

Бабушка была глубоко верующим православным человеком, от неё исходил тёплый душевный свет. Она и крестила меня тайком от родителей (а, может, и не тайком — не знаю) летом 1946 года, уговорив батюшку не регистрировать моё крещение (чтоб не было последствий для папы и мамы в то трудное богооборческое время). Крестил меня батюшка у себя дома. Волнующее это событие описал я в рассказе «Алёшин секрет».

Спала наша семья на полу, вдыхая чудный запах свежей травы. Таково было скромное послевоенное бытие в селе в Украине. Но как было нам там летом хорошо и душевно. Вечерние посиделки с сочным украинским говорком, с шутками, с обязательными песнями. Хороводы девчат.

Пишу — и душа радуется от этих воспоминаний.

\* \* \*

С огромной симпатией вспоминаю отца бабушки Федоры — моего прадеда — деда Илько (Ильи) Охрименко. Когда я впервые увидел его, ему было далеко за девяносто. Небольшого росточка, сухонький, быстрый в движениях и в речи. Вместе с тем, был он слепой — в старости бельмазакрыли оба его глаза. Но казалось, что прадеда это не сильно сковывало. Он ходил по селу быстрыми мелкими шагками, почти бегом, поступивая палочкой по дорожке, ходил без сопровождения и раздражался, когда кто-то пытался услужить ему без спросу.

Вечно в движении, в каких-то заботах и делах, он был очень подвижен. У деда Илько было трое детей — все дочери: моя бабушка Федора и две её сестры — Гапка (Агафья), с которой он жил в соседней хате, и Мария. Мария жила с мужем в другом селе, а Гапка (баба Гапка — для меня) была незамужняя. Дед Илько постоянно давал им всяческие поручения, покрикивал на них, как на девчонок. И те безропотно делали всё, что он велел.

Первое знакомство с ним было таким:

— Пидийды, унук, до мэн!

Я подошёл, дед Илько легко и быстро, очень живыми пальцами коснулся моего лица.

— Гарный унучок! Будэшь слухать мэнэ? Я твийдид, а точнише — прадид. Зрозумив?

Он часто окликал меня и занимал шутливым озорным разговором или давал какое-нибудь нетрудное поручение, которое я выполнял. А дед Илько ждал, когда я ему об этом доложу. Был он всегда в центре внимания, ему до всего было дело.

Прожил дед Илько 104 года, но не умер, а погиб. Позднее сообщили нам письмом, что погиб дед Илько на пожаре, помогая соседям выносить вещи из горящей хаты, и на него рухнула пылающая соломенная крыша. Вечная память ему. Наверное, так и надо вести свою жизнь, как дед Илько, не зацекливаясь на своих бедах и переживаниях, а жить делами и заботами об окружающих, жить заинтересовано и оптимистично.

\* \* \*

Конечно, если мы не уезжали на Киевщину в гости к бабушке Федоре — матери моего отца, то со временем мои летние интересы и занятия становились все разнообразнее и занимательнее. Прежде всего, рыбалка. Ей меня обучил младший брат моей мамы — дядя Юра, который после службы в армии приехал к нам погостить, да так и остался жить в Ужгороде, женившись тут на красавице польско-словацко-венгерско-румынских кровей (по бабушкам и дедушкам) — тёте Броне, воспитав троих детей и дожив до почтенной старости. Вот он-то и обучил меня — уже восемь лет отроду — первым простейшим азам этого занятия. Маленькое удилище — метра полтора-два, кусок лески, поплавок и крючок. Всё! Никакого грузила! Спичечный коробок заранее наловленных мух. Река недалеко от дома. Родители отпускали меня, и я бродил вдоль и поперёк мелкого и быстрого там Ужа, насаживая на крючок мух и вылавливая множество мелких — сладошку — рыбок: уклек, быстрынок, пескарей, голавликов. Иногда попадались крупные ерши — носари. А когда я стал рыбачить с грузилом, то попадались изредка и донные рыбки — марены, подусты, канадские сомики.

Я уже с 9-10 лет приносил с собой большие низки рыбы, насаживая пойманную рыбу на бечёвку, закреплённую одним концом у меня за поясом. Рыба постоянно находилась в речной воде и не портилась в течение жарких дней. Иной раз налавливал я рыбы по большому тазу, гордясь чрезвычайно своими успехами. В этом смысле летом я был постоянным кормильцем моей семьи рыбой. Постепенно мои рыбакские знания и навыки совершенствовались, улучшались счасти, использовались разнообразные насадки и прикормки. Ловил я уже и на донки, и в проводку с грузилами, и изредка — на перемёты. В конце концов, этой страстью я заразил и своих родителей — они стали заядлыми рыбаками.

А вообще рыбаков в городе было немало, и почти все они рыбачили в черте города на виду у слоняющихся по набережным горожан. Река Уж на подходе к городу очень мелкая — по камням можно было её перейти, если в горах не было дождей. Но перед самым городом в ней впадал довольно глубокий канал (до шести-семи метров глубиной). Шириной он был метров пятнадцать-двадцать. Этот канал забирал воду из реки Уж километрах в двадцати выше города. Его назначение — он крутил турбину небольшой электростанции, обеспечивающей энергией город, а, с другой стороны, он служил источником питьевого водоснабжения населения Ужгорода. Поэтому, получив воду канала, Уж замедлял свой бег, набирал глубину и в основной черте города был достаточно глубок (до двух-трёх метрах) и тих. Затем, через километр он становился шире, убыстрялось течение и его вновь можно было перейти вброд. А ещё через километр Уж поворачивал на девяносто градусов направо, окончательно замедляя течение и набирая глубину до семи-десяти метров.

И вот к чему это подробное описание. По моей классификации рыбаков Ужгорода можно было разделить на четыре категории: любители, профессионалы и две категории суперпрофессионалов. Первая — это были мальчишки вроде меня и взрослые, как мои родители, ловившие рыбу на мелководье и быстринах либо с берега, либо бродя вдоль и попереёк реки. Профессионалы же освоили среднюю, относительно глубокую часть Ужа, протекающую через центр города. С правой стороны реки располагались живописнейшие, засаженные каштанами и липами, благоустроенные Ленинградская и Сталинградская набережные. А на левом берегу возвышалась искусственная дамба — по большей части в черте города — с вертикальной стенкой — защитой от паводков. Тут ловля рыбы велась со стационарных сидений, установленных в реке на расстоянии десяти и более метров от берега. У этих рыбаков были длинные удилища, подсачники, садки, прорезиненные костюмы. Они применяли разнообразную подкормку. Вылавливавшие ими преимущественно крупный подуст — до одного килограмма весом.

Часами стояли на набережной праздные горожане, наблюдая за действиями этих профессионалов. Видел и я, как к вечеру брели они к берегу со своим уловом — в садках трепыхалось пятнадцать-двадцать крупных рыбин. Это вызывало удивление, восторг и восхищение. Ну а суперпрофессионалы — те рыбачили либо на канале (первая подгруппа), либо за городом на глубоких участках Ужа, или даже на Латорице — притоке Тисы, куда впадал Уж. Это была вторая подгруппа. На канале ловить рыбу официально запрещалось, но особой строгости не было, и по ночам дядя Юра вылавливав там очень крупную рыбу — марен (усачей), голавлей, жерехов и других весом до трех килограммов и более. Счасть там использовалась донная, применялась прикормка рыбы на «своих» участках. За городом ловля велась нередко перемётами с насадкой огромных садовых червей и лягушек. Пришло как-то и мне с моим дружком Валькой Ляпуновым вытаскивать ночью перемёт с сомом весом восемь килограммов.

Если уж быть точным, то существовал и ещё один азартный вид ловли. Когда в горах шли дожди, или таял снег, Уж вздыбился. Уровень реки поднимался на четыре-пять и более метров. Были случаи, когда Уж

выходил из берегов и заливал часть города, но при мне такого катализма не происходило ни разу. Когда поднималась вода, река неслась стремительно, напористо — страшно! По ней мчались брёвна, вывернутые с корнями деревья, кусты, временами — фрагменты каких-то домов и домашнего скарба. Это значило, что где-то в горах сносило жильё водой или оползнем. Вода в Уже тогда была коричневая, мутная. Вдоль реки у образующихся временных затонов стояли рыбаки с «пауками». В России эту счасть зовут зыбками. Огромный длинный шест с подставкой или без неё и на конце — сетка полтора на полтора, или побольше — два на два метра.

Множество зевак наблюдало с мостов и набережных за увлекательным занятием рыбаков. Добывалась лишь крупная рыба, мелочь уходила — через крупные ячейки сеток.

Вот случай, запомнившийся мне чрезвычайно ярко. Стоял я на пешеходном мосту вместе с плотной толпой наблюдателей — мы следили, как несколько рыбаков орудовали «пауками», периодически вытаскивая в сетках приличных рыбин. Вот один из них медленно вытягивает «паука» из воды, и в ней обнаруживается огромная рыбина. Всем показалось, что в ней было не менее метра длины. Серебристая, красивая, лежала она в сетке неподвижно. Но когда рыбак почти довернул сетку до берега, рыба шевельнулась, оттолкнулась хвостом и ушла в воду. Был громогласный «А-а-ах!» — с моста. Рыболов постоял секунд пять в крайней растерянности, затем швырнул свою счасть в реку, несколько раз сильно ударил себя кулаками по лицу, что-то крича, и — убежал! Да, мы, зеваки, понимали его: он, вероятно, упустил главную рыбину своей жизни!

Я не любил жаловаться родителям на неприятности. Лишь иногда чувствовал потребность поделиться переживаниями с дядей Юрай, предварительно взяв с него честное слово, что он не расскажет папе и маме. Дядя Юра всегда внимательно и эмоционально выслушивал меня и не осуждал мои подобные поступки. Лишь повторял:

— Ты на рожон то не лезь, мало ли чего. Но в общем правильно поступаешь — не давай никому себя унижать.

\* \* \*

Кроме рыбалки, была у нашей семьи и другая общая страсть — любовь к грибной охоте. Как только до нас доходил слух, что «пошёл грибной слой», все выходные дни семья посвящала себя утолению этой страсти. Первое время — в конце сороковых — начале пятидесятых годов мы ходили в лес за грибами только пешком, так как местные жители не увлекались сбором грибов, и поэтому в лесу рядом с Ужгородом — за Радванкой или у Шахты — всегда было много грибов, в том числе и белых. Кстати, местные грибники тогда не знали и не жаловали нашего грибного короля — белый гриб. У них грибом номер один считался «цесарский» гриб, внешне похожий на наш розовый мухомор. Я не сразу научился его распознавать. Позднее, когда грибников в лесах рядом с Ужгородом стало побольше, к грибным местам мы отправлялись чаще на автобусах и в автомобилях. Должен сказать, что грибные урожаи, как правило, были весьма обильны.

Дома грибы наши шли на жарку, на супы, они мариновались и сушились, что для наших знакомых из местных было в диковинку. Если мы забирались со своей грибной охотой подальше в Карпаты, то на высокогорье местами встречались нам, и обильно, белые грузди, жёлтые грузди и чёрные-лиловеющие. Местные жители считали их несъедобными, а чёрные грузди, например, в словацких грибных справочникам представлялись как несъедобные грибы с отпугивающей внешностью («нэедла хуба с одпуджуючым зовнышком»). Это наши-то бесподобные в хорошем с травами засоле зимние деликатесы под дымящуюся картошкой...! Но вернёмся в Ужгород.

Постепенно с годами ареал летних моих интересов разрастался. Появились школьные друзья, обзавелись мы велосипедами, что позволяло нам, когда мы стали постарше, «сгонять» за день до города Мукачево и обратно (а это — всего около восьмидесяти километров).

Любили мы гонять на велосипедах и до Невицкого замка, полуразрушенного, но мрачно-величественного, высившегося на вершине горы, у подножия которой протекал Уж. От Ужгорода это было около двадцати километров. Именно в Невицком мои школьные друзья впервые показали мне живую змею. Это был уж, и водилось их там — великое множество. Ребята прижимали их вырезанными из кустарника рогульками к земле, брали в руки, играли ими, и даже кое-кто запускал их себе за пазуху. Позднее, уже в старших классах, мы пугали девчонок, гулявших по набережным, — когда у нас изпод ворота рубашки выползал уж! Ну а в тот раз я видел их впервые и робел ловить ужей таким манером как ребята. Поэтому я отошёл подальше в лес и стал выискивать ужа, чтобы на нём освоить приёмы ловли. Увидел — вот он, аккуратно рогулькой прижал голову змеи к земле, робея, крепко зажал её пальцами около головы и принёс ребятам — показать свою добычу. Увидев меня, они дружно замолкли, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. Тогда Толька Мищенко тихонько так медленно сказал:

— Лёшка, осторожно, это гадюка.

В жутком испуге отшвырнула я змею на землю, и мгновенно она была забита рогульками. Чтож, технологию поимки ужей мне пришлось осваивать существенно дольше, чем я первоначально планировал.

Около Невицкого мы любили купаться в Уже, отдыхали на траве и речной гальке. Чем мы питались, проводя там долгое время? Да как-то об этом мы и не задумывались. Ну щипали ежевику, малину, землянику, обильно произраставшие вдоль опушки леса, иногда ловили руками голавлей под камнями и нависающими над водой корнями кустов и деревьев, которых потом жарили на вертелах на костре. Ещё подкапывали колхозную картошку и томили её в костре. С удовольствием ели молодые початки кукурузы (не варили). Ну и ели много фруктов. Нет, не таскали их из крестьянских садов. Просто шоссе от Ужгорода до Невицкого с обеих сторон было обсажено фруктовыми деревьями — абрикосы, сливы, яблоки, груши. Когда всё это поспевало, мы постоянно питались ими. А чуть раньше поспевала черешня. Вдоль дороги чуть в отдалении стояли ничейные, мощные, раскидистые черешни, обильно усыпанные тёмно-бардовой сладкой ягодой. То-есть, вопрос питания у нас никогда не стоял, мы над этим не задумывались, всё происходило естественно и спокойно.

Меня иногда спрашивают — а курил ли я в детстве. Ну что ж, друзья мои начали покуривать потихоньку лет с одиннадцати-двенадцати, но далеко не все. Может быть, половина класса к десятому классу курила уже серьёзно, но другая половина — и не начинала. Я вот ни разу не взял в рот ни одной сигареты ни в школьные годы, ни позднее. Что же касается школьных лет, то искушение конечно, было, но меня сдерживало несколько серьёзных факторов. Во-первых, я боялся своего некурящего отца; во-вторых, я уважал своего тренера по лёгкой атлетике Галинку, говорившего, что спортсмен не имеет права курить, если решил добиться хороших результатов. Ну а в третьих — да мне просто был предельно-противен вонючий запах табачного дыма! Так что курить в школе я не пробовал, да и до сих пор не курю.

Вернёмся в наши детские подвиги. Как-то стало нам известно, что около железной дороги, которая шла от Ужгорода, во время войны около Невицкого партизанами был пущен под откос немецкий состав с боеприпасами. Впоследствии немцы собрали остатки невзорвавшихся боеприпасов, а когда пришла Красная Армия, наши саперы также капитально поработали в этих местах. Тем не менее, некоторые местные крестьяне при вспашке полей или при уборке урожая выкапывали из земли «мака-

ронины» артиллерийского пороха. И неудивительно! Ведь это произошло всего лишь через пять-шесть лет после окончания войны!

Наше мальчишеское любопытство в итоге привело нас к «решительным» действиям. Мы нашли участок в кустарниках у окраины полей, где обнаружили несколько воронок. «Умные» мальчишечьи головы сообразили — тут, вероятно, взрывали какие-то боеприпасы. И мы начали раскопки. Сначала мы обнаружили несколько полых макаронин артиллерийского пороха. Заложенные в костёр, они сгорели эффектно и ярко. Были найдены также какие-то крупные патроны, как мы потом выяснили, от противотанковых ружей. Часть их была рассована по карманам, а остальные — отправлены в костёр. Тут уж мы попрятались в канавку. Как же — техника безопасности! Фейерверк был жутковатый, но он лишь раззадорил нас! И раскопанный в кустарниках у воронки с помощью стального прута небольшой артиллерийский снаряд после горячей дискуссии тоже был отправлен в костёр. Мы залезли в канаву и стали ждать. Ожидание длилось довольно долго. Яркий костёр постепенно угасал, снаряд молчал и мы уже поговаривали, что взрыва не будет и пора вставать. Но во время обсуждения — жахнуло! Великий испуг наш был двойной — и от того, как рвануло, и от того, что мы едва не поднялись. Вот тут уж действительно было страшно — по-настоящему. На этом наши рискованные эксперименты мы решили завершить и, договорившись молчать, разъехались на своих велосипедах по домам.

Но через несколько дней вспомнить пришлось. Витя Князев попытался разобрать противотанковый патрон, и он взорвался у него в руках, серьёзно повредив ему руки и лицо. Тогда-то о наших экспериментах и узнали взрослые. Попало нам крепко. Нас таскали по нешкольным кабинетам, изъяв имеющиеся кое у кого патроны. Хорошо, что я не рискнул ничего принести домой. Участок наших поисков был ограждён, и какое-то время там работали сапёры. Конечно, это было мальчишеское легкомыслие, но не такое уж редкостное для тех мест, где недавно прошла жестокая эта война. Было и вот какое — лазили мы по чердакам трёх-четырёхэтажных жилых домов в центре Ужгорода. Искали по закоулкам что-нибудь интересное. Вите Булгакову «повезло» — он нашёл немецкий пистолет, завёрнутый в промасленную тряпку (пишу я об этом со слов друзей, которые там были). Заглянув в дуло, он нажал на спуск и... остался без глаза, отстав поэтому от нашего класса на год. Но всё же подобные занятия не казались нам чем-то необычным, ведь многие из нас знали вкус этой войны.